

Ирина Богатырёва

Трофей

Рассказ

Ты дочь врага, ты сестра врага,
Ты жена врага и мать врага.
Это ничего, это ерунда,
Ты мне только тем и дорога.

Группа «Агата Кристи»

1

Теперь всякий раз, когда я варю кофе, я вспоминаю Львов.

Я варю кофе в крошечной керамической турке. Она настолько мала, что не стоит и на самой маленькой газовой конфорке, приходится держать ее за витую металлическую ручку, не сводя глаз, ждать, пока поднимется белесая, густая пена, помешивать, топя крупички зерна ложкой. Варка кофе — это ритуал, отвлечься нельзя ни на секунду. Турка — теперь я знаю, что во Львове ее называют джезвой, — стоит на медленном огне, но пена поднимается неумолимо, как воспоминание, и запах наполняет кухню.

В кофе главное — запах, в городе — его люди.

Львов вечерний тоже пахнет кофе, а люди на его улицах праздны и веселы. Хорошо одетые, молодые, они держатся по-европейски свободно, они перетекают из одной лавочки в другую, из одного кафе в другое, смеются, делают селфи с уличными музыкантами, покупают сувениры и снова растворяются в барах и кафе. Львов дневной, в котором я оказалась неделю назад, был совсем другой, светлый и пыльный, и мне не понравился. Впрочем, что я увидела тогда: вокзал, площадь с трамваями, католический собор в двух кварталах — и снова вокзал. Меня звали Карпаты, меня окружали другие такие же туристы с рюкзаками и в трекинговых ботинках, и город меня интересовал меньше, чем автобус, который должен был из него увезти.

Львов дневной был не точкой, а порталом, он не имел границ и был бесформенно размазан в пространстве. Львов вечерний оказался уютным, маленьким, он весь умещается на ладонке, как игрушечный. Пряничный город в окружении темноты. Темнота обнимает, город сжимается, и люди прячутся в крошечных забегаловках, наполненных светом и запахом кофе. Кофе везде, кофе — символ города, терпкая его

Ирина Богатырёва родилась в Казани, выросла в Ульяновске. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Автор пяти книг прозы, литературного перевода сборника алтайских сказок и публикаций в журналах «Октябрь», «Новый мир», «Дружба народов» и др. Финалист и лауреат многих литературных премий, в том числе по литературе для подростков и премии «Студенческий Букер». Играет на варгане в дуэте «Ольхонские ворота». Живет в Москве. Предыдущая публикация в «ДН» — роман «Формула свободы» (2017, № 6).

душа. Запах настолько плотный, что в нем сложно перемещаться. Не выпив ни капли, чувствуешь привкус во рту, светлеет голова. Кофе — наркотик, кто бы с этим спорил. В сувенирных лавочках продают имбирные пряники в форме льва и керамическую посуду — крошечные кофейные чашечки, турки с узкими горлышками и массивными деревянными ручками и плоские, с маленьким жерлом тигли для обжарки кофейных зерен. Ну и конечно, сам кофе — бесконечные ряды баночек разных размеров с цветными этикетками. Пьянея от запаха, я долго брожу меж стеллажей — и наконец покупаю мужу пряничного льва, а подруге шоколадку. Кофе у меня свой, из дома, пересыпанный в бутылочку из-под йогурта по походной привычке, он съездил со мной в Карпаты и не уменьшился и на четверть: то, что я по-настоящему люблю, я редко себе позволяю.

На улице тьма уплотнилась и заблестела — моросит. Людей заметно меньше. Город становится неприветлив, спать хочется все сильнее. День у меня выдался длинный: еще утром я была в горах, собирала мокрую палатку — ночью прошла гроза, — и спускалась к людям. Я еще несу на себе отпечаток гор, я в тех же ботинках, в которых лазала по скалам, и в той же одежде, я еще немного там, тряский и душный автобус только утомил меня, но до конца не вывез. С горами всегда так — с ними прощаешься долго, и я надеюсь довести до дома память о торжественных буковых лесах, в которых так легко дышалось, теплых и влажных ночах, освещенных луной и таинственными светляками.

Луна висела низко в неподвижном воздухе. В лесу капало, жило, скворчало. Лес казался белым и светился сам собой, изнутри.

Однако пора возвращаться в хостел. Не могу сказать, что эта мысль меня радует. Я уже успела заскочить туда, чтобы оставить вещи и убедиться, что дешево хорошо не бывает: старая квартира, огромная коммуналка, скрипучий паркет, который должен помнить польскую шляхту, темные коридоры, душ грязный, в туалете пахнет канализацией, в спальнях — немывтыми людьми. В комнате, куда привел меня привратник этого чистилища, было десять коек, заняты оказались восемь. Привратник кивнул мне на дальнюю у окна: «Тут у нас японец, — сказал не без гордости, — а нижняя ваша», — и вышел.

Но не успела я положить вещи, как он вернулся и заявил, что моя не эта, а соседняя, через проход, а эту уже забронировали. «А ничего, что тут уже заправлено?» — спросила, перенося рюкзак на другое место. «Ничего», — заверил меня привратник. Пятеро недорослей, обитающих на всех уровнях этого коммунального мира, прислушивались к моей речи. Молоденькие парни, студенты или абитура, обложившись гаджетами, они представляли собой завсегдаев таких мест во всех точках земного шара. Я притулила свой рюкзак в проходе между моей нынешней и моей неудавшейся кроватями, взяла деньги и документы и пошла гулять в надежде вернуться настолько поздно, что соседей моих сморит молодой и здоровый сон.

2

Но первое, что я вижу, входя туда снова, — это каких-то людей на моей кровати. Двое. Темноволосый японец, обитатель верхнего яруса у окна, и некто в тельняшке. Пялятся в телефон и изредка весьма эмоционально произносят отдельные английские слова. У ног — бутылка пива.

Началось в колхозе утро, думаю и решительно направляюсь к ним.

— Здравствуйте, это моя кровать, — говорю тельняшке, но поняли оба: поднимаются и меняют дислокацию — на соседнюю койку, у которой хлопочет немолодой мужчина. Он делает вид, что их не заметил, а эти двое на него даже не смотрят.

— Манки! Манки! — кричит тельняшка и смеется, тыча пальцем в экран. Японец его горячо поддерживает. Оказывается, обсуждают китайцев и их военную технику.

Удовлетворившись легкой победой, начинаю разбирать вещи, исподволь осматриваясь. Абитура рассажена по местам, как и была, но все какие-то подчеркнутые тихие, незаметные, как будто вжались в кровати, изредка косятся на пару с пивом. Оставшиеся три койки занимает немолодая семейная пара и их взрослая дочь. Девушка уже зарылась в постель и старается не дышать, мать еще заправляет свою, а муж ей помогает, хотя больше мешается. Просто он с отчаяньем пытается чем-то себя занять, лишь бы притвориться, что очень занят, его не касается то, что тут происходит, — потому что именно на его кровати сидят эти двое.

Пиво у японца кончилось, он встает, не сразу, но входит в тапочки и, покачиваясь, покидает комнату. Тельняшка остается на месте. Пьет. Его, кажется, еще не взяло.

Ну и черт с ним. Завтра встану как можно раньше и уйду отсюда. У меня будет несколько часов до поезда для осмотра города. В пять еще темно, заведу будильник на шесть. Надо сложить вещи и одежду так, чтобы не шуметь. Куртка, ботинки — все рядом. И взять воду. Я купила баклажку, но так много мне не надо — отолью во фляжку. Прокручивая все это в голове, откупориваю бутылку и начинаю переливать, встав в проходе между кроватями.

Как он переместился, я не успеваю заметить — просто вдруг оказался рядом. Я не видела, чтобы тельняшка смотрел в мою сторону, но вот он уже на соседней кровати и аккуратно прячет под нее ботинки.

— Вы специально делаете это над моей обувью? — заглядывает мне в глаза снизу вверх. Худое лицо, глаза карие, умные — и злые. Сдерживаемая злоба дрожит в голосе. Натянулась струна, но еще не звенит, можно отпустить. — Вы хотите туда воды налить, чтобы освежить, да?

— Не волнуйтесь. Ничего бы не случилось. Я контролирую ситуацию.

На самом деле, я не заметила ботинок, я просто забыла, что они здесь — и его, и мои. Но теперь-то что делать — продолжаю наполнять флягу под прицельным взглядом тельняшки. Уже не уйдет, не сводит глаз — взгляд тяжелый и едкий. И койка соседняя оказалась именно его. Ничего не скажешь, я нашла лучший способ установления знакомства в хостеле.

Закручиваю фляжку, закручиваю бутылку. Не пролила ни капли. Опускаю глаза — и сталкиваюсь с ним.

— Ви звідки? — спрашивает, переходя на украинский, уставившись в упор.

— Что? — переспрашиваю, не успев даже подумать.

— Ви. Звідки, — повторяет раздельно, внятно. Как говорил с японцем — чтобы поняла если не слова, то хотя бы интонацию.

— Я не понимаю, — говорю честно и чувствую — напряжение, без того разлитое в комнате, достигает предельной плотности, вжимает всех по углам. Лежат, не дышат, ждут, что будет. Прикрылись одеялами, словно их здесь нет. Их здесь нет, они ничего не видят и не знают, это их не касается.

Неприятная улыбка расплывается у него на лице, и я понимаю: он меня проверял.

— Не розумієте? — спрашивает утвердительно. Я мотаю головой — отступить мне некуда, — и улыбаюсь, как могу примиряюще. Потому что, правда: я не понимаю украинского. Всю неделю в Карпатах чувствовала себя глухой и немой, без друзей я бы не справилась, не нашла транспорт и заблудилась бы в деревне, откуда начинался наш маршрут. Но теперь осталась одна, и чувство языковой беспомощности вернулось в полном объеме.

— Вы откуда? — спрашивает по-русски. И голос не обещает ничего хорошего. Ответ он знает, просто хочет, чтобы я его произнесла сама, как приговор. — Откуда вы приехали?

— З Москви, — отвечаю намеренно по-украински. Просто толкаю его словом — отвали! — и берусь за какие-то вещи, начинаю укладывать — лишь бы что-то делать, лишь бы не смотреть друг на друга вот так в упор, как два барана.

Но так просто он не отвалит.

— Из Москвы? Из той самой?

Вокруг скрипят кровати — кажется, абитура прильнула к бортикам, чтобы лучше видеть.

— Из какой «той самой»? — спрашиваю как можно более едко. Чтобы не было сомнений, что я все поняла. Но тельняшка продолжает свое, как будто отыгрывает роль:

— Из той самой, — говорит с наигранным энтузиазмом. — Где Путин сидит!

Этого я и боялась. Смотрит весело, глаза довольные и злые. Типа он сделал шах в два хода.

Рано радуешься.

— В моей Москве. Путин. Не. Сидит, — произношу, глядя ему в глаза. Чтобы понял. И больше вопросов не задавал.

Но Остапа уже несет:

— А как же вы сюда приехали? У вас же Киселёв говорит, что у нас тут мальчиков кушают. И что мне делать: я сегодня еще ни одного мальчика не скушал!

Кривляется. Публика рада, долетают сдерживаемые смешки.

— День прошел зря, — соглашаюсь.

— Вы не захватили с собой мальчиков? Мне на ужин.

Тут входит японец. Слышит общее веселье, сам тоже начинает улыбаться. Наивный человек. А душ, значит, свободен.

— Ничем не могу помочь, — отвечаю. — У вас свои мальчики должны быть. Нам самим не хватает.

И подхватив полотенце, выхожу из комнаты. Душ, чай, нырнуть в сеть, воспользовавшись местным вай-файем. Это не бегство, а ретировка из-под шаха. Чем дольше меня не будет в комнате, тем лучше — забудет. А может, даже уснет. Все уснут. Это было бы идеально.

Жаль только, что так долго я на кухне не просижу.

3

На кухне пьют красное и веселятся другие люди, спустившиеся с гор. У них в кастрюле виноград, на гладильной доске развешена большая палатка — гроза была в Карпатах, везде была гроза, да — а их речь я не понимаю. Предлагают мне вина, но я отказываюсь. Пью чай из местной кружки, рассматриваю магнитики на холодильнике из разных концов мира — и думаю, что делать, если ситуация в комнате начнет выходить из-под контроля. Чуйка подсказывает, что никто связываться с тельняшкой не станет. И что тогда? Бежать к привратнику? Требовать для себя другой угол? Спать в коридоре на диванчике? Или не спать, уходить, сидеть в круглосуточной кофейне и наматывать круги по ночному, блестящему от дождя Львову?

Нет, все не то. Надо возвращаться. Ложиться и не обращать на соседа внимания. Что бы он ни делал. В разговоры не вступать. В конце концов, я имею право на эту комнату ровно такое же, как и он.

Внушив себе чувство «это моя земля!» — мою кружку и возвращаюсь в комнату.

Там по-прежнему горит свет, хотя люди делают вид, что спят, прикрывшись одеялами до бровей, и только тельняшка с японцем продолжают налаживать международные отношения с помощью отдельных английских слов и пива. Сидят теперь на его кровати, то есть рядом с моей. Тельняшка держится, но японец выглядит уже созревшим и, увидев меня, поднимается, лезет к себе наверх.

— Э, ты куда? — тянется к нему тельняшка.

— Бай! — дружелюбно машет рукой японец. — Бай-бай.

Похоже, счастлив, что отделался.

Я прохожу и, повернувшись спиной, в очередной раз перекладываю вещи, делая вид, что не замечаю, как тельняшка буравит меня глазами.

— Нет, а вы что, правда, с самой Москвы?

Вопрос толкает меня в спину. Выпрямившись, вздыхаю. Нет, не обращать на него внимание. В разговоры не влезать. Откидываю одеяло с подозрительно запропавшим пододеяльником, ныряю в кровать — и сталкиваюсь с ним взглядом.

Сидит, расставив ноги, в руках — пиво. Взгляд прицельный и злой.

— Нет, что, правда? Ну, мне просто интересно.

Говорит по-русски. С акцентом, подбирая слова, но уверенно. И смотрит так, как будто ждал меня, чтобы задать этот вопрос.

— С самой, — киваю устало. — Может, свет выключим уже?

— А как же вы сюда приехали? — Он не слышит меня. Заводит все с начала.

— Взяла и приехала. Нельзя? — пожимаю плечами.

— А вы что, не знаете, что у нас война? Что у нас под Донецком ребята гибнут?

Склонился ко мне, смотрит с вызовом. Невысокий, поджарый, жилистый, весь какой-то напряженный, как гончак на охоте. Глаза злые и едкие, а лицо — красивое, точеное, прорисованное мелкими штрихами, ни единой размытой черты — все породистое, ясное. Молодой еще мальчик. Молодой и злой. Такие лучше всего ненавидят, искренне, с полной отдачей.

Подтягиваю к груди ноги и прижимаюсь спиной к стене. Натягиваю одеяло на колени.

— Я ни с кем не воюю.

— Не воюете? Вы, может, хотите сказать, что этого нет?

Лицо становится совсем из камня. Злость рвется из него, а лицо — гранит. Чем сильнее его раздирает, тем тверже он держится.

— Я про себя говорю. Я ни с кем не воюю, я поэтому сюда и при...

— Зато я воюю! — отрезает, как канат обрубил. — Служащий вооруженных сил Украины. Я приехал с передовой. Я видел, что там происходит.

Волна шевеления проходит по комнате — не спят, не спят койки, слушают. Вдруг резко ощущаю себя одинокой, один на один с ними со всеми: вот они, вот я, и дом космически далеко, недостижимо далеко, он за линией фронта, а где-то между мною и домом идут бои. И я уже не я, а представитель страны, нации — черт подери, для чего мне это, ну вот зачем мне это все?!

И я молчу. Смотрю на него — и молчу. Чувствую, как его злоба сдувается. Она не терпит тишины, молчания, прямого взгляда в упор. Ему хочется кричать и размахивать руками. Но я молчу.

— Я еще... как это? Серпень? Восьмой месяц года по-русски как?

— Август, — услужливо подсказывают с верхних коек.

— Я еще в августе был там, на передовой.

— Август сейчас, — напоминаю я. — Двадцать восьмое.

— Я в начале был. Две недели назад. — Говорит глухо, понизив голос, пытается сам в себе раздуть злость. — Там, на передовой.

— А что уехал? Отпуск?

— Отпуск. Отпускают нас. Да у меня документ есть, удостоверение! — вдруг вскидывается. Как будто я не верю. — Вот, видишь? Служащий Вооруженных сил Украины.

Распахивает передо мной синюю корочку с гербом. Смотрит с фотографии — те же темные пронзительные глаза. Такой же небритый. Такой же жилистый и твердый, как будто вчера сфотографировался. Красивый мальчик. Зовут Захар.

Поднимаю глаза и киваю. Ну, удостоверил. Мне-то оно зачем?

— Хорошо.

— Хорошо. — Убирает корочку. — Что еще хорошо? Там война. Там ребят убивают. А вы едете сюда. Вы — русская, москалька. Вот почему я сейчас по-русски с вами говорю? Ви не розумієте по-українськи? А зачем тогда приехали? Я еду в Польшу, я понимаю по-польски. Я могу, плохо, но я буду с ними говорить по-польски, потому что людям приятно, что я с ними говорю на их языке. Я говорю

с американцами — я говорю по их, по-английски. Я не люблю английский, но я говорю с ними на их языке. Я с вами говорю по-русски! Я плохо говорю, с акцентом...

— Нормально вы говорите, — спешу заверить. Он морщится — перебила:

— Я плохо говорю, я знаю, но я говорю. Я с вами говорю, потому что вы не понимаете, я же вижу. Поэтому я говорю.

— Спасибо, — смиренно киваю.

— Спасибо, — умиляется он театрально. Расплывается в улыбке, которой нельзя верить. — Повтори еще раз: спа-си-бо.

Вдруг соскочил на «ты». Меня это настораживает, мотаю головой.

— Зачем? Я уже один раз сказала, больше не буду.

— Дякую. Дякую! Повтори! — Он почти кричит. Шипит сдерживаемым криком. Я смотрю на него спокойно. Мне даже бежать некуда. Только плотнее прижимаюсь к стене.

— Я уже сказала один раз. Больше не буду. Понадобится — скажу.

— Вот видишь! А почему я должен говорить с тобой по-русски, хотя приехала сюда ты? Вы захватчики, ты понимаешь это? Вы пришли на нашу землю. На мою землю! Зачем вы это сделали? Я украинец, у меня папа, мама, бабушка, дедушка — все украинцы, русских нет ни с одной стороны. У меня дед был бандеровец, он воевал вместе с Бандерой! Я в пятнадцать лет знал, что будет война. Что это неизбежно. Потому что не может... ну не может быть, чтобы без войны! Потому что вы захватчики, вы пришли и учите, как нам жить! Я русских всегда ненавидел. И я сразу пошел. Когда началось — я сразу пошел. Уже четыре года...

— Добровольцем? — перебиваю, а сама думаю: ну вот зачем? Кто за язык тянет? Выговорится — увянет. Нет, надо продолжать, надо подливать масло в огонь. Оно мне надо? Натяни одеяло и отвернись. Ничего он не сделает, скоро уснет. Но я уже не могу остановиться: какая-то боль тянет меня, приковала, не дает отвести от него глаз. Красивый мальчик. Злой.

— Нет, я служил. Регулярные войска. Я служил в регулярных войсках вооруженных сил...

— Призывник? — перебиваю опять.

— Призывник, сначала. Призвали, да. Я пошел. Я хотел сам. Я этого не понимаю, чтобы дома отсидеться, чтобы за спинами. Эти мальчишки все — вот этого я не понимаю. Война же, война, а ты дома сидишь? Я их таких — ууу! — закатывает глаза, как будто вдруг взвыл на луну. Койки зажались, не дышат — они понимают, на кого он воеет сейчас. — Ненавижу. Этого я не-на-ви-жу. Это моя земля. Вы пришли, вы захватчики. Надо защищать.

— Я не захватчик, — говорю устало.

— Ты не захватчик, — соглашается он. — Ты враг.

— Я тебе не враг. И я согласна с тобой: это все ужасно.

— Что ужасно? Я сказал — ужасно? — Он вдруг расплывается в неприятной улыбке. — Вам же хорошо должно быть. Вы же радоваться должны, когда убивают у нас. Мы же радуемся, когда сепаров бьем. Это знаешь, как приятно.

И смотрит выжидающе: вдруг взорвусь, начну на него орать. Ох, как же он этого хочет! Но я ему не верю.

— Я тебе не верю. Ничего приятного нет в том, чтобы убивать людей.

— Нет? Ты думаешь, нет? А знаешь, как он меня за руку держал? Как сжимал, как будто... как будто в этом вся его надежда! А как хрипел? Как живые не могут. Живые уже так не могут. А он живой был. Это никогда — никогда, знаешь! — никогда не забудешь.

— Кто? — спрашиваю и сама удивляюсь: какой у меня спокойный голос. Почему такой? Его уже рвет от эмоций, а мне хоть бы хны.

— Паренек один. Только прислали. Двадцать один год был. Такой весь из города. Ну что паренюку в двадцать один нужно? Девчонки, веселиться. Только прислали. На передовой первый день. Артналет — и все, попало в голову. Но он живой еще был.

Я подбежал — живой. Кровь, вот так вот все, — выворачивает руками воздух. — Так меня схватил, — хватает сам себя за плечо, со всех сил, — схватил и держит. Как будто помощи просит. Там еще подбежали... Послали за носилками. Я бегу и думаю: зачем носилки-то? Окоп узкий, куда тут носилки, — показывает руками вокруг себя. Узко, да, не развернуться. — Вернулся. На себе выносил. Он долго еще жил. Его еще в реанимации держали. А потом отключили. На мне кровь была. Вся одежда, вся термуха — все в крови. Чужая кровь, это так... Я стирал, стирал, а куртку выкинул потом — не смог носить.

— Страшно, — говорю глухо.

— Страшно? — Он всматривается в меня, как будто ждет, что я еще что-то скажу. Но я молчу. — Страшно, — повторяет, как будто оценивает это слова. Без эмоций, просто прикидывает, подходит ли оно. — А я уже не могу. Без войны не могу. Я в город приезжаю — и меня кроет. Иду, смотрю — а люди все улыбаются, все такие счастливые. Ты чего улыбаешься? Ты чего, сука, такой счастливый? Как ты вообще во всем этом живешь? Город этот, люди. Машины, магазины. Кафе. Как вы можете тут? Меня прямо... кроет, ненависть поднимается — ууу! — Он опять запрокидывает голову и воет сквозь сжатые зубы. — Я кофе пью. О-очень сладкий кофе. Отпускает помаленьку. Музыка слушаю еще, наушниками закроешься — и ничего. В ушах звучит, и ничего больше не слышишь. Смотришь вокруг — людики всякие ходят. И тебе уже как будто все равно. Вдох — выдох. Отпускает.

Я киваю. Я его понимаю. Как ни странно — понимаю лучше, чем он может представить. Ровно так же когда спускаешься с гор, смотришь вокруг и не понимаешь: как же вы можете в *этом* жить, как *мы все* можем в *этом* жить? Города. Машины. Магазины. Кафе. Искусственные лица. Неискренние улыбки. Я-то знаю, как мало человеку надо. Как ему почти ничего не надо для счастья. И тоже кроет. Только без ненависти — одной депрессией. И тоже кофе. И тоже музыка. Вдох-выдох. Понемногу отпускает. Втягиваешься. Живешь дальше.

— А то ведь знаешь, как бывает, — продолжает он. — Кто-то драться лезет. А кто-то в ресторане официантку ткнул вилкой в ногу. Просто не так посмотрела — и оп!

— Ну нельзя же так, — морщусь. — Официантка-то ни при чем?

— Нельзя? А ты знаешь, как они смотрят? Как будто мы не люди, вот как. Относятся к нам, так... видят, военный, с передовой — молодец, молодец мальчик. А потом: только отойди, не мешай. Не порти вид. Там вон постой. — Говорит чужим голосом и лицо делает надменное. Отмахивается ладонью. Явно изображает кого-то. Я не хочу уточнять кого. — Никто и не думает, что там происходит, — откидывает головой в сторону. Там — передовая. Линия фронта. Гораздо ближе, чем хотели бы оба — и он, и я. — Пока мы там, для них тут — все только для себя: деньги, дома. А я видел, во что превращается это все: пыль. Естественно: пыль. И дырка от снаряда. Вот такая, — показывает руками, как будто пытается обнять необъятный столб. — Ты видела? Да ты не видела, — усмехается, вроде, ну чего со мной говорить.

Достает телефон. Включает, начинает что-то искать. Думаю: сейчас покажет мне эту дырку от снаряда. А он, оказывается, переключился уже.

— У меня кот был. Там, на передовой. Тигр. Хороший такой котяра. Я его любил — ууу как. Как еду в Мариуполь, обязательно еды ему везу. Он привык, приходил всегда, когда я там. Ко мне шел. Хороший кот, умный. Он из моей кружки пил. Некоторые говорят: «Кот, разве можно, чтоб из кружки!» А почему нельзя? Он пить хочет, откуда ему пить? Лето, жара. Вот он.

Поворачивает ко мне экран. На фото — котик-подросток, не по размеру выросшие лапы и уши, маленькая еще голова. Котик дремлет, разморенный жарой, прикрыв глаза и, кажется, мурлычит, — так много вокруг солнца и человеческого внимания. Не сразу замечаю, что из-под лапы торчит рукоять автомата — кот лежит на дуле, как на подушке. Рядом две гранаты.

— До зубов вооружен, — говорю и улыбаюсь, нет же сил смотреть на кота и не улыбнуться.

— Заминированный котик, — улыбается и Захар.

Проматывает фотку, на следующей — тот же полосатый Тигр, пьет из огромной кружки, нырнул туда с головой. Стоит на какой-то бетонной плите, явно обломок здания, торчат железные прутья. Светит солнце, кругом летает пыль, но тихо, никакого обстрела. И кажется, никакой войны. Просто кот, просто жадно лакает воду из жестяной кружки. Жара.

— Пропал? — догадываюсь я.

— Пропал, — кивает Захар, но как-то равнодушно. Нет, кот не погиб. Он может еще где-то жить, он, может, ушел на другую сторону фронта и пьет там из чужих кружек. Захар не держал его на руках, разорванного гранатой, не находил в обломках дома. Кот, может быть, еще и придет.

Взгляд расфокусирован, думает о чем-то своем. А палец скользит по экрану, мелькают фотки — он сам, в форме, бравый, с автоматом, с боевыми товарищами в камуфляже. Позируют в окопе. Позируют у машины. Позируют у какой-то ямы в земле.

— Вот воронка. Видишь — снаряд упал. А это вот прилетело во время артналета. Я в метре стоял. Потом попросил сфотографировать.

На фото — кусок арматуры в стене окопа. Тяжелая железная дура, вошла в мягкую землю, как в масло. Захар рядом, не улыбается. Темные глаза расширены, хоть и старается быть веселым. Арматура торчит на уровне головы. Слишком понятно, что было бы, окажись он на метр левее.

Палец скользит дальше:

— Это друг привез из Киева, — на фото он у окна, в зубах — большая сигара. — Это товарищ мой, бывший мент, — стоит возле огромного мужичины, на две головы его выше и в два раза толще. Улыбаются оба, тот его приобнимает за плечо. — А это сепар. Посмотри, может, узнаешь, вдруг земляк твой?

Что на фото — не понять. Одежда и красно-мясистое пятно. Никаких очертаний, никаких форм. Только цвет. Не человеческий. Не живой. Предметный.

— Ну и зачем ты это мне показываешь? — Поднимаю глаза. — Мне же потом это сниться будет.

Молча убирает телефон. Это он понимает. Да и нет у него цели меня задеть. Как будто помимо его воли лезет из него все это.

Хлопает пива.

Кто-то спускается с койки и шелкает выключателем.

4

Мы словно оба закрываем глаза, и мир проступает под закрытыми веками измененный. Комната, белесый квадрат окна, кровати. Все становится ближе, плотнее. Захар сидит на краю, опершись локтями в колени. Смотрит на меня в упор, еще более пристально, чем при свете. Или так кажется. И сидит как будто бы ближе.

— А мне не снится, — говорит. Голос понизил, в темноте нельзя по-другому. — Война никогда не снится. Я просто здесь не могу, на гражданке. Мне психолог говорила, Люба, она меня хорошо поняла, как-то сразу: «Ты, — говорит, — оттуда не уезжаешь. Ты телом уезжаешь, а голова у тебя там, на войне остается». А я думаю: как, если она мне не снится? Один раз приснился паренек этот, которого я не себе нес. И как будто на мне кровь. Его кровь, чужая. Я смываю, а она не смывается. Куртку так и выбросил...

Оборачивается вокруг, ищет глазами. Видит бутылку воды.

— Это чье?

— Мое. Пей.

Присасывается к бутылке, как будто не пил год. Пластик хрустит под пальцами — громко, слишком громко в тишине комнаты. Вокруг храпят. Не то спят, не то притворяются. Слушают нас. За храпом прячутся. Японец на верхней ворочается. Он-то точно спит — не понимает.

— Ты к психологу ходил? Зачем?

— Нам полагається, — говорит, оторвав себя от бутылки. — У нас есть это — психологическая помощь называется. Я ведь когда приезжаю, я домой не еду. У меня в деревне все — мать, дед. Я пью сначала, зачем они будут меня в таком виде? Я когда пью, у меня как будто шторы опускаются. И все проще становится. Хотя я обычно много не пью. А в этот раз приехал, пошел в гостиницу. И запил. Неделю пил: утром проснусь, спущусь в бар, что-то там ем, покупаю пива, поднимаюсь в номер — и пью. Потом опять. И так неделю. А потом подумал: стоп. Это непорядок. Мне страшно стало, что я остановиться не могу. Я не хочу — как это? — алкоголиком? Алкоголиком стать боюсь. Пошел в госпиталь. У нас во Львове есть, госпиталь для военных. «Все, — говорю, — лечите меня». Они меня взяли, от алкоголя промывали, потом таблеток каких-то... Я спал от них еще неделю. Потом говорю: хватит, я больше не могу ваших таблеток. И тогда ко мне психолог пришла. Молодая. Мы с ней хорошо говорили, она меня сразу поняла. Она говорит: ты не хочешь назад. А как не хочу? Что мне здесь делать? И как я буду здесь, если вы нас пытаетесь захватить?

Он не спрашивает — он недоумевает. Смотрит на свою жизнь и не знает, как с ней быть. Я качаю головой. Не говорю ничего — слушаю. Я все больше превращаюсь для него в темноту, которая умеет слушать. Темнота дышит восьмью глотками, темнота шевелится, стонет во сне, причмокивает. И слушает. Его темнота — слушает, моя — говорит. Из форточки дует влажно. Свет фонаря выхватывает контуры, жестко очерчивает профиль — бритая голова, точеные, породистые черты. Говори, темнота, я слушаю — говори!

— Тебя как зовут?

— Ира.

— Захар, — пожимает мне руку. Железная ладонь, пальцы сводит. — Ира, Ира, — пробует слово на вкус. — Так ты зачем приехала, Ира?

— В Карпаты ездил. В горы. На фестиваль. Я играю на варгане.

— Варганы, варганы, — пробует новое слово. — Москалям хуй в органы! — выдает вдруг хлестко, но не смеется, смотрит — ждет, что скажу. В голове у него замкнулось, пластинка провернулась, и он готов начать все с начала. Мне становится скучно — снова восстанавливать хрупкое равновесие я не хочу. Да я и не верю ему теперь — не верю, что это он искренне.

— Это дрымба, — говорю, как будто не замечаю выпада. — Варган — по-вашему дрымба.

— Дрымба? — Глаза меняются. — Так это же наше! Почему ты на ней играешь?

— Это не только ваше. Она много где есть. Просто называется по-разному. У нас — варган.

Смотрит без доверия. Качает головой.

— А ты точно москалька? Москали на дрымбе не играют.

Пожимаю плечами. Пусть как хочет, так и считает.

Молчит. Вглядывается из темноты. Так долго, что я вдруг пронзительно ощущаю, что я — женщина, а он — мужчина, мы выглядываемся друг в друга из темноты, и есть что-то в этом нашем сидении, в упрямом ночном бдении, что-то древнее, понятное нам обоим, что и отпустить нас не может, и не позволит нам потом друг друга забыть. Мы враги. Но я интересна ему, а он интересен мне только этим, я это сейчас понимаю со всей откровенностью.

— Я в детстве читал много, — говорит он, наконец. — И по-русски. И по-украински. Очень много. Я у нас в поселке всю библиотеку прочел. Мне библиотечарша говорила, что я больше всех книг брал.

— Здорово! — говорю, а сама удивляюсь, как он об этом рассказывает: как о серьезном, ужасно важном деле. — А что ты любил читать?

— Все подряд. Особенно, знаешь, сказки. Фантастику. Фэнтэзи. Это любил — про хоббитов. «Властелин колец». И «Туда и обратно». — Я киваю и улыбаюсь. Я ожидала

чего-то такого. — Стругацких еще, — продолжает он. — Все прочел. «Улитка на склоне». «Трудно быть богом».

— «Трудно быть богом»? Правда?

— Ага. — Кивает. Слышно, что улыбается в темноте. И вдруг без всякого перехода: — У меня жена была, ушла в прошлом году. Я узнал, когда под Водяным был. Знаешь, что было под Водяным?

— Нет, — мотаю головой. — Понятия не имею.

— Под Водяным?! У нас все знают! Это и в телевизоре показывали. У меня мама... Она ничего никогда не говорила. А тут увидела в телевизоре, что там, звонит: «Это что, все правда? У вас там людей убивают!»

Смеется наивности мамы. Мягко и по-доброму, как будто о чем-то другом, не о войне.

— А что там было?

— Что? — Ослабился. Не ослабился даже — скалится. Страшное лицо, звериное. Красивое по-прежнему, но нечеловеческой теперь, дикой какой-то красотой. — А это когда мы вашу спецуху в котел взяли. И бомбохали, бомбохали. Мы же, знаешь — мы все выросли на фильмах про русский спецназ, на боевиках, для нас это было — непобедимая армия. А тут мы увидели, что их можно бить. Можно! И будем, теперь точно будем их бить!

Чувствую, что его уводит в штопор. Лицо меняется — бледная плоская маска, неживая, только глаза на ней — огромные, темные, в этой темноте кажутся совсем без белков — одна чернота, злая и едкая. Нет, с таким я не хочу разговаривать. Вытаскивать его обратно, в нормальное состояние, где книжки и котики, тоже уже не хочу. Я устала. Спать, спать, завтра вставать рано. Отворачиваюсь, ищу свой рюкзак. Кофе. Вот что я забыла на утро — бутылка из-под йогурта, походная привычка. Почти целая. Утром встать, заварить — и в город, смотреть ранний, не продранный глаз Львов.

— Это что? — Тянется к бутылке, берет в руки, крутит.

— Кофе.

Но он уже сам открыл, понюхал — и поднимает на меня совсем другое лицо.

— Це кава! Це заварна кава!

— В смысле? — не понимаю я, но не то, что он говорит, а чему он так удивляется.

Запах кофе плывет по пропитанной совсем другим духом комнате. Запах кофе делает вдруг все ярче, как будто у нас в глазах зажгли свет.

— Заварна кава! Это же наше, львовское. Ты не москалька! — вдруг озаряет его. — Ты не можешь быть москалька, москали не пьют заварну каву!

Впирает в меня взгляд — горящие, просветлевшие глаза. Мне смешно.

— Конечно, — киваю. — Ну, какой из меня москаль, что ты...

— Ммм, — он не может оторваться от бутылки. Нюхает, закатывает глаза. Мне кажется, его сейчас начнет трясти от возбуждения. Ну что ж, у меня правда хороший кофе. — Это, знаешь, — утром встаешь, варишь каву... У нас печка, буржуйка, вот туда — джезва, у меня джезва... Это как?

— Турка.

— Турка. У нас — джезва. У меня специальная, ручка длинная, чтобы в печку. Вот так, сварить. И обязательно — только ты в кружку перельешь, только пригодишься выпить, спокойно, не торопясь, — обязательно артналет. И земля с блиндажа — вот обязательно в кружку! — Он смеется. Мягко и негромко, а у меня аж дыхание перехватывает — так хорошо понимаю, каково это, получить кусок земли в кружку со свежесваренным, вождленным кофе. — У нас это называется — передовой кофе. Который с землей.

— И что делать? — спрашиваю, а сама нахожу на ощупь в рюкзаке свою кружку. Она у меня пластиковая, с крышкой. То, что надо.

— Кто-то выливает. Ну, самые салаги. Кто-то обратно в джезву. Или прямо в кружке — на печку, чтобы проварить. Ну, земля все-таки. А я прямо так пью. — Улыбается.

— Прямо так?

— Ага. А что, оно на дно все осядет — и можно пить. Фронтовой кофе. С землей. Где еще такой выпьешь?

— Да, я такого не пила. Я только с песком из реки, — говорю, а сама отсыпаю в кружку на одну заварку. Больше мне не надо, следующий кофе стану пить уже дома. — На, — говорю и протягиваю ему бутылку. — Это тебе. Выпьешь там.

— Что? — он вскидывается, будто я ему дала поддых. — Что? Ты что делаешь?! Ты хоть понимаешь, что ты сейчас делаешь?! Ты враг! Ты не должна мне ничего давать!

Меня аж отбрасывает к стене. Глаза черные, совсем теперь черные и злые. Голос звенит. Мне впервые за весь вечер становится страшно — это как оступить на узкой тропе над обрывом. Еще не упал, но пошатнулся, из-под ноги поплыла и посыпалась земля, туда, вниз, вниз, к бурлящей реке в ущелье — и тело отозвалось волной ужаса и пота. Что я сделала не так? Почему оступилась?

Нет. Успокоиться. Выдохнуть. Шаг. Еще шаг. Я все правильно делаю. Сейчас выкарабкаюсь.

— Прекрати, пожалуйста, — говорю спокойно. — Это просто подарок. Ты любишь кофе. Я...

— Я не должен это брать, ты понимаешь? — Он смотрит на бутылку, как будто там яд. Он и правда сейчас решает сложную дилемму. Не шутит ни на секунду, хотя мне бы этого хотелось. Нет, все очень, предельно серьезно. — Ты враг. Мы воюем, ты понимаешь? Как я могу это взять? — В голосе снова недоумение. Бедный мальчик!

— Просто — возьми и все. Это подарок. Я с тобой не воюю.

— Хорошо, — вдруг поднимает глаза. Решился. — Я возьму. Это будет трофей.

— Господи, ну почему трофей? Это подарок, я же говорю...

— Трофей, — повторяет упрямо и даже мотает головой: не приставай.

Я машу рукой — трофей так трофей, пусть играет, раз ему так нравится.

Ставит бутылку к своим вещам. Говорит потеплевшим голосом:

— Я там пить буду. — И сразу, без паузы: — От меня жена ушла, я на Водяном был, когда узнал. Если б дома, я не знаю, что сделал бы. Убил бы ее, наверное, — пожимает плечами, как о самом обычном деле. — Такой злой был. А потом приехал... Сходили с ней в ресторан.... Сначала в загс, развелись, а потом в ресторан. Вдвоем. И — пфф, — закатывает глаза. — Ничего. Совсем ничего не чувствовал. Ну красивая, ну ушла. Мы так-то недолго жили. Год, а потом я уехал на фронт. Ты, говорит, там все время. А мне нужен человек. Я не могу без человека. Не может она... Они все такие. Все здесь, в городе. Только о себе...

— Ну и для кого ты воюешь? — задаю вопрос, который мучает меня все это время. Пусть взорвется, пусть разорется, но я не могу его не задать.

Но он отвечает спокойно, даже устало. Как будто ему лень объяснять дурочке:

— Не для кого. Я за свободу. Потому что вы захватчики.

— Какая свобода? Ты думаешь, этим людям она нужна?

Пожимает плечами. Ему это все равно.

— Эти люди сами не знают, чего они хотят, — говорит спокойно, без осуждения. — Такой уж народ. — И повторяет устало. — Такой народ.

Я киваю. Я вспоминаю, как подруга, которой я везу шоколадку, увлекшись историей и реконструкцией рыцарства, викингов и древнерусских городов, заглянув в древность настолько, чтобы разглядеть там людей и их личные интересы, сказала как-то, что раньше любая война была честнее: она была за деньги, и это никто не скрывал. Князь платил мужикам за то, что те шли за него умирать, и если князь гиб, можно было уходить с поля боя — продолжение битвы теряло смысл. А все эти лозунги, за родину и отечество, весь этот патриотизм, говорила подруга, — все это возникло позже, из экономии: за чувства можно не платить. Ей было совершенно непонятно, почему взрослые нормальные мужики сейчас этого не понимают.

Я тоже не понимаю. Я хочу ему об этом сказать, а еще спросить, знает ли он сам, чего на самом деле хочет, но в этот момент японец наверху стонет, переворачивается и роняет руку.

— Э, — смеется Захар и пихает ладонь. — Япощка! — Рука уползает, японец не просыпается, с жалостливым всхлипом перекачивается на другой бок. — Мартышка моя, — говорит Захар с теплом, как про Тигра. — Я его приручаю. Пиво выпил одну бутылку — и готов. Кто так пьет? Нет, я много сам не пью. Водку вообще не пью, я с нее тупею. Я только пиво. Только пиво... — Повторяет задумчиво и вдруг находит в темноте мои глаза. Хватается за них взглядом, держится, как будто тонет. — Я вообще, знаешь, какую жену хочу? — говорит, будто отвечает на мой незаданный вопрос. — Таковую, чтобы была как ребенок. Немножечко как ребенок. Чтобы всякие милые вещи любила. Котиков. Книжки детские. Мультяшки. Чтобы дома все было — мило так, хорошо. Чтобы она сама такая добрая, игривая, но в то же время — надежная. Я же военный. Со мной что угодно может случиться. Чтобы она не подвела, чтобы могла на себя взять. Чтобы не... — осекается, но я понимаю: не предала. — Хочется иногда просто, чтобы кто-то живой был, хоть бы сопливым носом в плечо уткнулся — и уже хорошо. Как ты думаешь, такие девушки вообще бывают?

Я усмехаюсь. Почти все мои подруги — именно такие. Но разве я могу ему это сказать?

— Найдешь, — говорю. — Ты возвращайся со своей войны. И найдешь.

— А, возвращайся... Как же вернуться? Это война. Мы вас бьем, били и бить будем. Это уже до конца. А конец, знаешь, когда?

— Дай бог, чтобы скоро.

— Конец до последнего бойца! Хоть нашего, хоть вашего!

Голос опять звенит. Опять глаза волка. Но он говорит сейчас не свои слова — чужие, зауценные, это очень слышно. И я снова чувствую одиночество — только оно уже как будто и не мое. Наше, общее. Где я, и где дом. Дом, где не стреляют и не убивают. Где нет войны. Где можно варить кофе и не бояться, что в кружку упадет кусок земли с блиндажа.

— В госпитале девушку видел, — говорит снова спокойным, задумчивым голосом, и меня вдруг бросает в дрожь — как может он так быстро переключаться! — Лиля. Она два года в плену пробыла. Ее два года там били, насиловали. Ну плен. Она тоже к психиатру ходит. Мы на День независимости в госпитале сидели. У нас устраивают для военнослужащих угощение, чай. Беседы. И просто говорили, кто где служит. Без алкоголя, госпиталь — это нельзя. И вот она там была. Она уже нормально: говорит, смеется. Но глаза... Знаешь, это такие глаза! Ууу, — закидывает голову. — Я бы вот взял этих мальчиков, которые от армии косят, взял бы Лилю и в одну комнату посадил. Пусть друг на друга поглядят. И сказал бы: смотри ей в глаза. Вот в эти глаза смотри! Пока ты дома, пока ты по барам своим и институтам, она там два года, два года с ней неизвестно что! И говори мне потом: мы за мир, нам не нужна война. Ага, не нужна! Вам не нужна, а Лиле оно за что?!

Ему перехватывает горло. Его начинает трясти.

— Это ужасно, — говорю, — это просто ужасно, — и не знаю, о чем я: о войне, о Лиле или о том, что с ним происходит. — Надо как-то все это прекратить.

— Прекратить?

Он ухмыляется неприятно. Смотрит на меня свысока. Я враг. Он видит во мне врага, весь этот вечер, всю ночь — врага и ничего больше. Может в любой момент раздавить и не почувствовать угрызений совести. Я не человек. Врагов уничтожают. Я чувствую это сейчас совершенно отчетливо, но мне почему-то не страшно.

— Я, знаешь, чего по-настоящему боюсь? Что у нас в Киеве снова майдан начнется, и тогда, знаешь, что будет? Мы все с фронта туда придем, со своим оружием, и будем бомбить эту нашу раду. Я в четырнадцатом случайно туда не попал, я теперь думаю — это меня для чего-то Бог уберег. Потому что я бы точно там в самое пекло полез, а я тогда не умел ничего еще. Там, знаешь, что творилось, знаешь, сколько парней погибло! Но теперь так не будет. Теперь мы все с передовой, с нашим оружием, боевые офицеры, мы уже научились — мы все придем, и знаешь, что тогда будет? Ууу! — Воет по-другому, довольно и злобно. Но быстро обрывает себя. — Только

Путин ваш тут же сориентируется. Он войска введет, и вот тогда начнется. Тут уж точно начнется — до последнего. Это мы раньше думали, что мы слабые, что против вас не сможем. А теперь я знаю: сможем, еще как. У нас и оружие, и выучка. Это не ваши там, буряты косоглазые. У нас парни говорят, кто сепаров близко видел — там одни буряты и эти, как их, — даги. Кто такие даги, ты знаешь? И почему они там? Почему везут бурятов, чеченцев и вот этих? Где русские мужики, или их уже не осталось? А? Где? Я с русскими воевать хочу, я русских ненавижу, а этих я знать не знаю!

Он зло говорит и нарочно, чтобы задеть меня. От его ненависти звенит воздух. В комнате душно, восемь глоток тяжело сопят, храпят, кашляют во сне. Я думаю о том, чтобы поскорее настало утро.

— А это у тебя что? — вдруг переключается он снова. Подумав об утре, я тянусь к куртке, которая тут же, рядом, лежит поверх рюкзака. — Гортекс?

— Нет, что ты! Дешевая какая-то ткань.

— А я думаю, это гортекс. — Шупает, подносит к лицу, будто хочет понюхать. Мне смешно. Он серьезный и наивный одновременно.

— Да нет, ну правда. Гортекс совсем другой. Эта простая. Вот гортекс.

Достаю из-под кровати свои ботинки, новую треккингую пару, удобную и в горах, и в городе. Он изучает их так же пристально, шелкает языком. Потом начинает рассказывать о своей снаряге. Показывает штаны, флиску, ботинки — все новое, из лучших американских тканей, польского производства. Рассказывает, что покупает сам, то, что им выдают в армии, быстро приходит в негодность. Говорит об одежде подробно и с упоением, и я поддерживаю этот разговор с удовольствием. Нам впервые кажется, что мы говорим об одном, хотя на самом деле — о разном: я — о горах, он — о фронте. Но мы оба любим хорошее снаряжение, его надежность, чувство защиты и уверенности, которое оно дает. Это чувство особенно важно там, где никакой уверенности и защиты, по сути, быть не может, — что в горах, что на фронте. И как и для меня, снаряга для него — связь с домом, с обычной жизнью.

Он больше не вспоминает о войне, и я чувствую, как мое напряжение, моя тревога постепенно отступают. Он говорит о деде, которому отправляет несношенную, но уже не подходящую в бою одежду и обувь, смеется, что дед ходит по деревне модный; говорит о кошках, которых он подбирает и кормит, там, в деревне, их у него восемь хвостов; и снова о будущей жене, девочке-подростке, все понимающей и готовой прийти на помощь, когда будет нужно.

— Надо же, — удивленно тянет потом, — стоило поговорить с тобой — и понял, что мне надо. Сумел сформулировать.

Я улыбаюсь. Жена улыбается нам обоим из темноты и садится на подоконник, на широченный подоконник этого старого дома, пущенного под хостел, болтает тонкой ножкой и смотрит во влажную ночь за окном.

Ночь катит к рассвету. Сон наших соседей становится чуток. Час быка. Разговор буксует.

— Я буду спать, — говорю наконец, взглянув на часы. — У меня утром поезд. А до этого хочу успеть погулять по городу.

— На чем ты поедешь?

— На поезде.

— Поезд есть?

— Есть, конечно. Львов—Москва.

— Хм. Надо будет его взорвать, — говорит мечтательно. И ни секунду не думает обо мне. Ни на миг не думает.

Чувствую, будто меня окатывает холодной водой. Он даже не улыбнулся.

— Вот зачем ты так?

— Ладно, не бойся, — говорит с интонацией, с какой обращался к японцу. Вытягивается на кровати и укрывается одеялом до подбородка. — А куда ты утром

пойдешь? Сходи на Высокий Замок. Я всегда туда хожу, когда приезжаю. Сегодня тоже был, но туман, ничего не видно. А вообще там красиво. — Зевает.

Я не отвечаю. Вытягиваюсь на своей кровати тоже. Мы лежим так близко, что в этом есть что-то ненормальное. Проход узкий, дотянешься рукой. Вот разве можно так?

Через пять минут слышу: спит.

5

Когда через три часа я вышла из комнаты, все по-прежнему спали. С верхней койки свисала рука японца. Захар лежал под ней, навзничь. Лицо красивое и горькое, как у нарыдавшегося ребенка.

Город тонул в тумане. В воздухе висела водяная пыль, как бывает в горах, когда вдруг на склон легло облако. Я ходила по улицам, различая в мутном свете памятники и замки. Звенели трамваи. Изредка проходили загулявшие пары, смеялись, цокали каблуками, пронесли запах духов, сигарет и ночной жизни. Из поворотов улочек дворники выволакивали на проезжую часть мусорные баки, гремя по булыжникам мостовой. С мокрых неубранных столиков взлетали голуби, а вороны прохаживались внизу между ножек, высматривая что-то нахальными глазами.

С горы Высокий Замок не было видно ни зги. Из тумана торчали только верхушки деревьев. На макушке оказалась площадка с флагом. Флаг тоже был почти не виден, он только влажно захлопал, когда вдруг налетел ветер. Ветер разорвал в тумане дыру и показал мне площадь Рынок, купола каких-то дутых храмов, прорубленный в городе проспект, на котором уже выстраивалась гирлянда утренней пробки, — и завеса задернулась, оставляя мне город невидимым, непонятым.

Спустившись, я сумела заблудиться, и бежала в хостел за рюкзаком, вот-вот успевая на поезд. Бежала и думала о Захаре. Я думала, застану ли его сейчас, проснется ли он, пока я буду забирать рюкзак, и как он на меня посмотрит при свете. Захочет ли вообще на меня смотреть или сделает вид, что спит. Мы слишком много говорили, мы стали слишком друг другу понятны — даже если бы мы с ним переспали, мы бы не были так понятны друг другу. Не каждый захочет общаться с ночным собеседником после такого.

Комната еще спала, спокойно и равномерно дыша. Пропала только семья, их кровати были аккуратно застелены, вещей рядом не оказалось. Японец и абитура на месте. Захар лежал, отвернувшись к окну.

Я взяла рюкзак, стараясь не шуметь. Проснется — значит проснется. Я буду ни при чем.

Вдруг обернулся, открыл глаза и посмотрел прозрачно, спокойно. Ни злобы, ни досады. Приветливый дружеский взгляд. Лицо красивое днем еще больше, нежели ночью.

— Уходишь?

— Да. У меня поезд через час.

Сел. Как будто что-то хотел еще сказать или сделать, но понял, что не до конца проснулся. Встряхнул головой, глядя в пол.

— Я успела подняться на Замок. Там и правда туман, ничего не видно.

Поднял голову. Улыбнулся, глядя в глаза. И я вдруг отчетливо поняла, что всю эту ночь он был трезвый. Только сейчас это стало видно: трезвый, пиво его не берет, шторы не падают. Не так-то просто ему от себя загородиться.

Впрочем, это ничего не меняет.

Улыбнулась в ответ.

— Ладно. Счастливо.

Протянула руку. Я вскинула на спину рюкзак и протянула свою.

— Береги себя.

Твердая кисть крепко сжала мне пальцы.